

В. Е. Орехов

ДЕМИУРГИЯ

Рассказы



Виталий Орехов

Демиургия (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8329553

ISBN 978-5-4474-0149-8

Аннотация

В данный сборник вошли рассказы В. Орехова. Многие из них предстают на широкий взгляд публики впервые, и по-новому открывают для читателя возможности заглянуть вглубь себя и других людей, и, возможно, увидеть самую суть человеческого бытия – найти ответ на вопрос. И самое сложное – вопрос этот сформулировать.

Содержание

Вместо предисловия	4
Рассвет	9
Победа	18
Так бьется сердце	24
Купе	29
Секунда	35
Самое опасное покушение	39
Революционер	45
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Виталий Орехов

Демиургия

Моему свету – с любовью моей Марии

Вместо предисловия Демиургия

Не стоит пояснять, что значит жить прошлым или будущим. Каждый автор – уже творец, но он создатель настоящего, который пишет в прошедшем времени о том, что никогда не произойдет. Так создаются миры. Мир, который я создаю, не имеет материального выражения, ни одной песчинки из него не ощутить, не почувствовать ни одного дуновения ветра. Но он может быть реальнее завтрашнего восхода солнца, потому что он сейчас.

Редко удается по-настоящему взглянуть в лицо реальности. Она ускользает. Задумайтесь. Даже то, что мы видим – лишь ее дагерротип, совсем недавнее, но отражение, фотонный свет, фотография. Мы так устроены, что всегда отделены от реальности временем. Я тоже отделен от него, и никогда не могу приблизиться к ней. Почти никогда.

Вы когда-нибудь видели солнечный свет, когда он искрится в капельках росы? Представим на мгновение эту карти-

ну. Вы стоите, смотрите на зеленый, яркий листик, на нем чистейшей воды бриллиант – утренняя капелька росы, в ней есть сердце – преломляющиеся лучи солнечного света. Вы видите его биение, оно переливается всеми цветами радуги, посмотрите, вот же оно – свет, даже больше, свет, как он есть, сразу и белый и цветной. Вы заглядываете в него, и видите небо, видите себя, видите... Может, достаточно неба и вашего образа. А сердце бьется все чаще. Но уже ваше, биологическое сердце. Вы знаете почему. Мгновение.

Теплые руки у вас на глазах. Не знаю, мне не нравится писать для женщин. С ними сложно, как их понимать? Поэтому вы, как и автор, далеко не самое совершенное творение Божье – мужчина. Теплые руки на глазах. И легкий смех позади. Вы ничего не видите, потому что свет больше не проникает в ваш головной мозг. Впрочем, он вам и не нужен, ваше сознание быстро перестраивается, ему не сложно, мы все-таки, венец, пусть и жалкий, творения. Вам достаточно звука и кинестетики. Головной мозг сам дорисует все изменение мира. Он сосредотачивается позади. Еще несколько моментов идут сложнейшие биохимические реакции, их описание формулами потребовало бы куда больше листов, чем этот рассказ, чем эта книга. И вот, время опять пошло так, как и должно было идти. Я возвращаю вас «в вас». Вы улыбаетесь.

– Это ты?

Конечно, она не ответит. Но нельзя не слышать, как она

сдерживает смех. Обратим внимание на ваш мир. Его больше нет. Вы же прекрасно понимаете, его нет, потому что вас выдернули из него. Свет больше не виден вам. С трудом, но все же вас лишают слуха. И все, что есть у вас – теплые руки на глазах. Это насилие над вашим естеством, борьба с натурой. Так не должно быть. Но, черт возьми, для вас сейчас это явственнее, чем не-пересечение параллельных прямых.

Когда-то люди умели не знать многих вещей. Мне сложно, я знаю не так много. Я ничего не знаю о вас, но я знаю, что вы сделаете. Вы возьметесь за эти теплые руки у вас на глазах, повернётесь, откроете глаза и посмотрите на совершенство мироздания. Говорите, что угодно, но у него карие глаза.

Вы опять видите свет. Странно, да? Вас только что вернули из небытия в мир, но этот переход вам кажется таким естественным, таким простым, как будто бы вы просыпаетесь каждое утро так. Но просыпаетесь вы не так. Из сказки Психеи вы попадаете в реальность, которая не прекраснее и не страшнее, чем вы сами. Это банально, просто, и со временем может надоест, особенно если ваш Харон – будильник. Но сейчас из ниоткуда вы в центре мира. Думаю, выражение «с корабля на бал» – довольно точно передает общую интенцию. Только все равно все иначе. Это как... Я не знаю, возможно, так ощущал бы себя снег, там, наверху, в зимнем небе, если бы обладал разумом.

Вы видите центр мира, который как пылающий янтарь теперь не только центр мира, но и мир весь. Опять, простите

меня, опять еще один переход. Как это все сложно, и мгновенно, и почти не существует, но еще один переход. Вы в новой вселенной, которой нет. Трудно описать ваше состояние. Вы ведь падаете. У вас нет опоры, все, что существовало – исчезло, есть только янтарная бесконечность, золотой рай, где нет ничего, кроме этого наполнения. Оно вас обволакивает. Мгновение.

Вы закрываете глаза. Я никогда не понимал, почему. Видимо, есть какая-то рефлекторная дуга, которая чрезвычайно солидно отвечает за эту сферу жизнедеятельности организма. Вопреки красоте вы закрываете глаза и... Все.

Миры, в которых вы побывали, и которых больше не существует, становятся прошлым, и вы опять в действительности. Теперь самая суть существования изменилась, как двинулась минутная стрелка на часах. Небольшая калибровка, которая позволила вам ощутить изменение. Почти никогда вы ее не заметите. Если я вам не указал бы на нее, вы бы так и оставались в неведении, что вы, именно вы сдвинули только что минутную стрелку вселенских часов. Конечно, не совсем добровольно, я бы даже сказал, посредством насильственных действий. Это же не было вашим намерением, ведь правда?

Сколько прошло времени? 5 секунд? Минута? Час? Не важно, для вселенной изменилось что-то. Что-то на субматериальном уровне, который чувствуете только вы. Вы и только вы были в центре мира, вы, и только вы видели сво-

ими глазами *omphalos mundi*. И в этом месте, хотя, простите, слово «место» так же немислимо в данных категориях, как и слово «время», и тамгда, когда время и место нераздельно, вы сдвинули, почти случайно задели стрелку времени. Поймите меня правильно, не каждому это дано, если вы этого не чувствуете, подумайте, зачем тогда все? Без этого мир застыл здесь и сейчас. И навсегда.

Проблема состоит в том, что за последнее время все больше людей теряют это мироощущение. Я скучаю по временам, когда люди знали немного. При всей моей любви к прогрессу *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. Одна из немногих вещей, вокруг которых крутится мир. Не зная это, человек теряет себя. Мир, в котором человек себя потерял, это, в общем, похоже на бесконечный кошмар Вишну.

Создавая вселенную, прежде всего, именно этого надо опасаться. Любая демиургия уже заражена этим с самого начала. Любая вселенная имеет этот вирус отчуждения в себе. В том числе и та, в которой пишет автор. Возможность его побороть – вот та суть жизни, которая является одним из двигателей. Совсем не единственным. Я не знаю всех, только некоторые. К сожалению, а может, и к счастью, я не знаю всего. Но вот эта энергия, которая противостоит отчуждению во всем – ее существование я только что вам доказал. Не я ее дарил, у меня нет на то полномочий, но я вместе с вами обладаю ею. Я тоже делаю так, чтобы мир существовал. Без нас он – ничто, лед времени.

Рассвет

Я поднимаю глаза и вижу рассвет. Так выглядит солнце, когда оно встает в небе над Ипанемой в ясную погоду. Розоватое небо с легким запахом персиков ласкает взор... Я вижу этот рассвет и не могу смотреть на него. Перечитывая письмо в третий раз я спрашиваю ее: «Почему?», но письмо молчит и нестройный ряд букв продолжает властно смотреть на меня, презрительно и без жалости к страданиям моим. Листок тревожит мои руки, им чуждо его механическое прикосновение, им странно дотрагиваться до воодушевленного душой нежной и прекрасной, которую я так люблю, клочка бумаги. Но буквы портят все. Они слишком нестройны, слишком не вписываются в общее мое восприятие мира и действительности и потому особенно враждебно настроены ко мне, я же не жалую их ни в коей мере, это будет непозволительно и слишком роскошно для них, для листка и, что греха таить, для меня тоже. Я кладу листок.

Я кладу листок на деревянный стол, лакированный еще три года назад, и требующий, причем настоятельно и назидательно новой лакировки. Но листок давит на стол, пальцы, к которым стол привык, как привыкают к старым знакомым, с которыми не замечаешь их присутствия, но чувствуешь что-то постороннее в душе, когда уж слишком явно они о себе напоминают, пальцы глупо тарабанят по старому лаку

и думают о листке. Я вспоминаю.

Я вспоминаю отчетливо и ясно, как такси, почему-то в дождливый день одиноко стоящее более у дороги, нежели у выхода из аэропорта, познакомило меня с принцессой, сидящей в нем и отдающей приказание экипажу следовать в Хотель «Апроадор», на восточной границе мыса, недалеко от Костакабаны. Принцесса давала наказ водителю медленно и тихо, как и позволительно принцессе, как только и могут давать наказы коронованные особы голубейших кровей. Она нисколько не ожидала увидеть меня, в пальто цвета дождя в Осло, на другом конце земного шара, который за столько времени перестал казаться мне огромной версией глобуса из класса в детстве, но ставшим мне пристанищем на отпуске под названием жизнь, с глазами, полными любви к кофе и ненависти к самолетам, а потому стремящимися в Хотель «Апроадор» не меньше принцессы. Ее взгляд сразил невежду, так рьяно ворвавшегося в ее покои, нарушившего священное таинство наказа слуге, не ожидавшего увидеть никого, кроме слуги, собственно, в такси. Выученные «Hotel Aproador, por favor» вырвались из моих губ до того, как я заметил принцессу, до того, как я заметил, что я нарушил, возможно, древнейший закон в мире, о том, что такси должно принадлежать одному человеку, имеющему важное подтверждение и в нашем материальном мире, ведь в каждом теле есть лишь одна душа. Так и таксист, Харон шоссе, не позволяет вмешиваться нам, когда мы желаем совер-

шить то, что по незнанию кажется логичным и правильным. Слишком много кажется нам логичным и правильным, когда есть возможность использовать бессмысленный инструмент, данный нам от рождения, который некоторые называют умом, большинство же даже и не предполагают, что он нужен не только для складывания налоговых чеков. Взгляд принцессы сразил мое невежество, я понятия не имел, как будет по-португальски «Извините, я и не мог предположить, что это такси уже занято», а потому бездушным «Excuse me» не только осложнил ситуацию, но практически должен был сам себя повесить, чтобы хоть частично оправдать свое бессмысленное существование в этом, как мне тогда казалось, в этом бессмысленном мире.

В этом бессмысленном мире есть, однако же, что-то, что дарит надежду, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, который, несомненно лучше вчерашнего и уж с позавчерашним ни в какое сравнение и идти не может. Это движение надежды для многих является мотивом жить, для избранных является самим смыслом существования души, несомненно, бессмертной. Принцесса, которая относилась к избранным из избранных, относится к ним и сейчас и будет относиться и после конца времен к сословию, чья суть выше понимания, выше всех категорий и выше небес над Ипанемой, оценила мгновенно, меньше, чем за время, что мое невежество не будет исправлено никакими орудиями, насколько искусны они бы не были, что любое движение ее

будет воспринято не только не верно, но и нарочито напротив, что увещевания о том, что такси занято, будет не идти ей и что ехать нам с принцессой предстоит в одну сторону, идет дождь, а у невежды нет зонта, при том, что вокруг больше нет ничего, похожего на такси хотя бы отдаленно, позволили произойти чуду, которое называется счастьем, хотя это наиболее неподходящее название для ощущения счастья. На английском, которые британцы зовут «языком белых воротничков» принцесса провела аудиенцию, в которой сообщила, что готова разделить со мной такси, если я своим влажным видом не испорчу ее августейший наряд. Невежда и помыслить не мог о подобной удаче и согласился (хотя о понятии «соглашение» не могло быть и речи, это следовало бы означать капитуляцией) с принцессой и вошел в экипаж, который тут же помчался в сторону восточной границы мыса, недалеко от Костакабаны.

Недалеко от Костакабаны, не далее, чем в полумиле вы найдете укромное место, которое благодаря причудливому своему расположению освещается лишь два раза в день – утром, когда солнце встает приветствовать холод ночи, чтобы, однако, незаметно, подобно разрушительной болезни уничтожить его, и вечером, перед самым заходом красного, устающего солнца, когда оно пахнет персиками, словно фруктовый рынок во время продажи урожая. Там какой-то плотник, видимо, один из немногих своих коллег догадавшихся о смысле своей работы, поставил беседку, раскрасил

ее в свой любимый цвет – изумрудный, и лакировал куда более тщательно, нежели был лакирован мой стол. В этой беседе почти никогда никого нет, поскольку добраться туда можно только зная путь, а он как тайна мастера, которая передается от отца к сыну, хранится лишь несколькими людьми, большинство из которых никогда не воспользуются своим тайным знанием. Так мы учим тригонометрию в классах, чтобы потом с трудом отнимать суммы денег друг от друга. Так мы постигаем, что значит любить, а потом дарим розы три раза в году, по определенным числам. Принцесса, которая являлась избранной из избранных, знала, что секунда стоит того, чтобы прожить ее, умело обходила условности мира и я виделся с ней в этой беседе, сначала редко, потом часто, а потом я забывал, что такое редко и часто, потому что я видел принцессу. Мы не замечаем, что здоровье – это здоровье, что книга – это Книга, что Деньги – это деньги. Так я не замечал до поры, что принцесса, с которой я имел возможность, счастье, случай, судьбу, что в принципе, есть один и тот же перевод слова, которое мы правильно и назвать не можем, познакомиться – Принцесса. Забывая о времени, иногда о пространстве, а потом обо всем, что было в мире кроме Принцессы, я забывал о мире самом. Он терял смысл, становился невесомым и посему просто испарялся в моем сознании. А она так любила цветы...

Она так любила цветы только того сорта, и того цвета, которые ей дарил я, и в этом заключалась для меня загадка,

потому что какие бы цветы не дарил Принцессе влюбленный невежда, она называла их лучшими и красивейшими на Земле, и невежда и помыслить не мог чего-то другого. Так получалось, что все лучшие и красивейшие цветы на Земле дарил он ей, и потому другим оставалось довольствоваться тем, что есть. Принцесса знала все, она была умнее невежды просто потому, что она принцесса, а он невежда, и этим только начинался список, содержащий все превосходства Принцессы над невеждой. Ее смех можно было сравнивать лишь со звоном ангельских колокольчиков, которые слышат только дети, но он был слаще и приятнее. Только тот, кто слышал голос принцессы, знал, что такое катарсис, и знал, зачем жить. Я знал, зачем жить. Беседка в полумиле от Костакабаны стала для меня Меккой, а я – самым правоверным мусульманином в мире. Я приходил задолго до того, как принцесса назначала мне туда прийти, и готов был не уходить оттуда никогда. Принцесса никогда не приходила в назначенное время, но ее взгляд мог перевести стрелки часов назад на столько, сколько будет нужно, и потому невежда забывал о времени, пространстве, о себе, о жизни, о мире, обо всем. Я видел и слышал только Принцессу. Я любил.

Я любил, когда вечером Принцесса смотрела мне в глаза, потому что я готов был утонуть, раствориться в ее взгляде, я и сейчас готов бросить этот мир навсегда, только бы увидеть эти глаза вновь. Все сокровища мира блекнут, Кох-И-Нор ничтожен, а Шах бесцветен и тускл, когда Вы смотрите в эти

глаза. Нет ярче ничего, и самый яркий из света, который вы видели, делает незрячими Вас, но никогда не согреет Вашу душу. Принцесса умела это. «Она Совершенство», – говорил я себе и боялся моргать, я не мог пропустить ни атома ее взгляда. Иногда она грустила и я смотрел в небо, и спрашивал, чем виноват я перед ним, кроме того, что родился невеждой из невежд, но Принцесса опять улыбалась и я забывал все, я был готов носить ее на руках от Северного полюса к Южному и обратно, только бы видеть, как она улыбается... Я продолжаю вспоминать...

Я продолжаю вспоминать, она улыбается, я смеюсь, с нами сидят родители Принцессы, они тоже смеются, они видят, что такое цепочка поколений и от этого укрепляется их звено, в этой бесконечной веренице истории рода, где начало и конец утеряны... Принцесса улыбается так тепло, что от этой улыбки можно согреть руки в холодную погоду, особенно в сезон дождей. Кажется, я счастлив. Она прекрасна.

Она прекрасна, она Принцесса, не может быть иначе, она одна, и то, что она у Вас делает Вас не только самым счастливым, но и самым богатым человеком на Земле, ответственность сохранить такое сокровище, ценность которого измерена быть не может. У Вас на руках Принцесса, Вы чувствуете, она Ваша, она счастье, она жизнь. Никто не будет счастлив так, как счастливы Вы. Никто ни будет счастлив так, как счастлив я. Никогда.

Никогда не видел я в ее глазах что-нибудь, что бы можно

было назвать предвестником этих литер, синих чернильных, живых и, увы, несвободных литер, которые освещаются розовым солнцем молодого дня. Перечитывая письмо в третий раз я спрашиваю ее: «Почему?» и не нахожу ответа. Я думал, я задаю неправильный вопрос, я курю, тарабаню стол пальцами, и не понимаю. Я не люблю не понимать, меня беспокоит это состояние, я трачу слишком много энергии на беспокойство, но я ничего не могу с собой поделать. Земля не виновата, что она крутится вокруг своей оси, и не виновато Солнце, что освещает Землю, дает жизнь розам, Ипанеме, Принцессе и мне. И я не виноват, что не могу перестать спрашивать себя, задавать бессмысленнейший из вопросов «Почему?», пожалуй, самый глупый из всех, после вопроса «Зачем?», и думать. Мысли рождаются в моей голове как Гольфстрим у Либревиля, не умирают по дороге, и продолжают инициировать новые и новые мысли. «Почему?». Я поднимаю глаза и вижу рассвет. Скоро совсем светает...

Светает... Я сижу за столом. Открывается дверь. Входит Принцесса.

– Ты прочитал?

– Почему?

– Ты много вспоминал?

– Да, очень много, а ты?

– Да я согласна.... Дорогой, так было надо. Теперь я навсегда твоя. Навсегда.

Без слов я бросаюсь к ней. Из рук падает клочок бумаги,

на котором читаются только остатки слов, уже не имеющие ни смысла, ни роли, не цели... Так теряется смысл, читаются лишь некоторые слова «женой», «нет», «расстаться»... Мгновение спустя теряются и они в пучине забвения... Их не слышно, не возможно прочесть никак. Я закрываю глаза. Я с Принцессой. Навсегда.

Победа

Было холодно, потому что февраль не пускал март согреть мир. Тогда я не знал почему, потому что никто не знал. Соседняя страна, с которой мы разорвали всяческие отношения обвинила нас в агрессивной политике за Монте-Эрматр, кусок земли в три на четыре километра. Странно, мы приехали с Марлен из соседней страны только полгода назад, у нас был отпуск и это было замечательное время, мы отдохнули на побережье, наслаждались лучами солнца, освещавшего курорт Сан-Актуан де Рьюю, купались в море и считали, сколько дней осталось нам не думать ни о чем, кроме заказа ужина в ресторане. Марлен тогда сказала, что беременна и что рада, что я узнаю это в Сан-Актуан де Рьюи, который, конечно, является Раем на Земле, а мы, конечно, Адамом и Евой в этом Раю. Кажется, это было после того, как мы на новом Бьюике отправились любоваться закатом в местечко под названием Хуассто-эль-Эспадроме. Прекрасный вечер, было ощущение, что солнце собиралось бухнуться в воду, но оно вошло в горизонт так незаметно и медленно, как нож входит в теплое масло, не нарушая внутренней структуры брикета. Она сказала, что беременна, и что счастлива. Я не помню, что ответил, и не мог запомнить, потому что я был весь погружен в счастье, я чувствовал его буквально повсюду, и особенно рядом с собой, оно материализовалось

в Марлен, оно стало Марлен, и только когда я это понял, я осознал, как сильно я люблю ее.

Когда мы приехали из отпуска, Марлен сидела по большей части дома, я же служил в войсках, и мы проводили учения в свете напряженности отношений между странами, приходилось уезжать ненадолго, испытывая угрызения совести перед беременной женой, оставляя ее на попечение Анны, которой, я хотя и доверял, но не мог до конца отдать заботу о тогда уже двух самых дорогих существах на Земле. Но потом я возвращался, иногда ночью, и смотрел, как спит Марлен, хотя я был страшно изможден, но не мог позволить себе пропустить чудо ее пробуждения, это не передать никакими словами на Земле, рассвет над водной гладью или в горах просто меркнет перед тем, как светятся ее темно-янтарные глаза, когда она их приоткрывает и видит меня рядом с собой. Я тихо говорил: «Я с тобой, любимая. Я всегда с тобой», целовал ее и только потом позволял себе закрыть глаза и забыться. Просыпался я только во второй половине дня, пил кофе и тогда мы рассказывали друг другу все, что произошло за эти семь, десять, одиннадцать дней, что мы были в разных частях света. Я рассказывал о маневрах, об охвате и отступлении, артподготовке и офицерском быте, и хотя я знал, что Марлен ничего не смыслит в маневрах, охвате и отступлении, артподготовке и офицерском быте, я знал, что она была со мной все это время, и вспоминала обо мне, и считала дни, когда я приеду. И ей было чрезвычайно важно знать, какой

ерундой я занимался, пока она ждала меня. Потом рассказывала Марлен, конечно, ее жизнь была наполнена несравненно большим смыслом, нежели моя, она вынашивала ребенка, нашего ребенка, и потому каждая ее секунда стоила больше, чем год моей жизни.

Когда наступила зима, я очень беспокоился, не будет ли Марлен холодно, и не простудится ли она. Во время учений я почти каждый день телеграфировал Анне, чтобы она позаботилась о том, чтобы Марлен было комфортно и тепло. К счастью, все обошлось. Я только, в декабре, кажется, простудился и нарочно пробыл вдали от Марлен лишнюю неделю, чтобы не заразить ее. Она, конечно, страшно ругалась потом, когда узнала, почему меня не было, но где-то сердцем понимала, что так было нужно. Уже тогда мы слышали. Начали мы слышать раньше, но в декабре мы грелись у каминна и слышали. Я слышал, как мой ребенок говорил со мной. Ради этого стоит жить.

К январю учения участились, мне приходилось почти каждые три недели уезжать на позиции, покидая Марлен. Наш Бьюик был реквизирован и, в общем, Бог с ним, теперь у меня появился личный автомобиль с водителем-рядовым. Хорошим парнем, но слишком уж молчаливым, иногда было бы приятно, особенно во время долгих поездок завязать долгий разговор, а с Тором, как звали моего водителя, получалось обмолвится лишь парой-тройкой слов. И ладно. Я думал о Марлен.

К марту стало ясно, что войны не избежать, были отозваны посольства, на мирное разрешение ни у кого не оставалось надежды. Я часто читал в газетах лозунги квасного патриотизма, убеждающие, что завтрашняя победа – результат сегодняшних дел и прочий политиканский бред, мне было все равно, я надеялся только, чтобы Марлен не стала переживать. Иногда приходилось говорить с ней о предстоящей войне, хотя мне и совсем не хотелось этого, убеждать, что нет ничего страшного, потому что я старший лейтенант, я не солдат, что я буду в безопасности в бункере, даже если по нему будет вести огонь прямой наводкой «Большая Берта». Конечно, это было не так. Я врал Марлен. Но Вы не можете меня судить. Марлен верила и тогда она жалела солдат и грустнела, переживала и думала... Я не давал ей этого делать, мы шли гулять по весенней погоде. Странно, почему-то запомнилось, что всегда была необходимость уговаривать Марлен теплее одеться. Это было особенно трудно.

Летом я однажды спросил Марлен, знает ли она, что такое самосбывающийся прогноз. Она ответила, что нет, не знает. Хотя она сказала не так, она никогда не признавалась, что не знает чего-то, я должен был поверить ей: она знает, но объяснить, чтобы Марлен убедилась, что права. Я сказал, что правые победили на выборах в парламент в прошлый раз, потому что все знали, что правые победят. Потому что все газеты писали, что правые победят. Потому что правые побеждали уже в 4 раз и контролировали все газеты. Люди

понимали, что у них нет выбора, и ставили галочку напротив названия правящей партии. Это и есть самосбывающийся прогноз. Я вынужден признать, что это отвратительный пример. Потом я вспомнил о нашей соседке в деревне, Кларе, но не стал о ней рассказывать, потому что Марлен все поняла. Потом я сказал, что война случится. Впервые в жизни, я увидел, как моя жена плачет.

Война началась в июле, когда Марлен тихо спала. Всю прошлую ночь она ворочалась под одеялом и не могла уснуть, я несколько раз бегал на кухню принести ей горячего молока, оно успокаивало ее. В ту ночь, когда войска перешли границу, Марлен спала тихо и нежно, как, должно быть, спят ангелы. Я не знаю этого, но если они и есть, то они спят так, как спала Марлен в ту ночь. Нарочный пришел в два, а в три. пятнадцать Тор уже стоял у подъезда к дому, когда я только решился разбудить Марлен. Я сказал ей, что это ненадолго, может быть, опять учения, что, может, уже через два дня мы вновь увидимся с ней, я ее обниму, как всегда, и все будет хорошо. Я ее обнял крепко, поцеловал, как в последний раз и уехал, оставив завешание Анне, сказав ей не говорить об этом Марлен даже под страхом смертной казни.

В сентябре я получил письмо, у нас с Марлен родилась девочка, нотариус сказал, что подождет с именем, военное время это позволяет, пока я не соглашусь с именем моей дочери. Я получил письмо от фельдфебеля, когда мы впервые шли на прорыв. Главное командование предприняло попыт-

ку атаки еще в августе, но она провалилась. В сентябре наш участок должен был стать плацдармом для прорыва. Но наши войска захлебнулись в контратаке армии соседней страны. Но в общем, это все мне было все равно. Я не думал о победе. Я думал о Виктории.

Мы проиграли. Я вернулся через тринадцать месяцев. Меня ждали Марлен и Виктория. Я победил.

Так бьется сердце

Она говорит, что ничего страшного, что операция прошла успешно, что сердце не задето. Только надо будет немного полежать в больнице. Она говорит, что через месяц я смогу ходить, а через два танцевать с ней. «Ты здорова?» «Да так, ерунда, пара царапин». Она говорит, что про машину, правда, придется пока забыть. Ездить она мне не даст... «Виктория..» Я ее увижу, как только поправлюсь. Она сейчас у бабушки с дедушкой. Она думает, что мы уехали отдыхать. Она очень обиделась, что без нее. Надо будет привести ей подарок. А теперь мне надо поспать. «Устал спать»... «Будешь ты у меня капризничать... Спи». Она целует меня. Я засыпаю. Впервые за много времени я засыпаю сам, зная, что мне есть, зачем просыпаться.

...

Постепенно я открываю глаза. Марлен сидит рядом. Она все так же прекрасна, как в первый раз, когда я ее увидел. Она, кажется, давно не спала. На правой щеке я вижу шрам. Его раньше не было. Я поднимаю руку к ее лицу. Он берет мою руку. «Я с тобой, любимый, ты поправишься, я обещаю». Я верю ей...

...

Я просыпаюсь. Кто-то держит мою руку. Я знаю, кто это. Я узнаю эти руки из тысяч. Это Марлен, она жива. Она си-

дит рядом со мной. Я шевелю рукой, она отвечает. «Сестра!» Как я соскучился по ее голосу. Кажется, основная проблема разрешена. Кажется, мне есть, зачем жить. «Сестра! Кэролайн!!! Он проснулся!» Входит Кэролайн. Я слышу, они переговариваются. «Месяца 3—4. Что скажет доктор Фриц». «О, Господи!», «Нет, все хорошо...» Засыпаю... все хорошо...

...

Тьма потихоньку отступает. Новый день. Я теперь знаю, что в палате я не один. Я пока не очень разбираю речь, но тут еще два или три человека. Они переговариваются. Шутят. Смеются. Они же не могут смеяться, зная, что с моей женой что-то не так, ведь верно? Значит, она должна быть жива. Надо попытаться... «Марлен...» «Сестра!! Он лапочет чего-то! «Судя по акценту, они флемандцы. Значит, мы проехали полдороги от Ле-Шателье... «Марлен...» «Так, он жену зовет» Это Кэролайн. «Позови доктора, Франсин». Мне тревожно на сердце. Еще раз, последний, на больше сил не хватит. «Марлен...» «А... «— мужской голос, доктор. Я теряюсь... Нет, нужно знать, нужн...

...

Гудит вокруг. Гудит в голове. Гудит мотор. Дождь идет, бьет по окну. Бьет по стеклу. Лобовое стекло залито водой. Вдруг спереди я вижу что-то. Нет, это не дерево. Это... Почему я резко свернул... Это... Так больно в голове... Это что-то живое... Вижу. Кто-то лежит. Пьяница, конеч-

но, он упал, он в грязи, лучшего камуфляжа в такую погоду и не придумать. Я не видел его. Его заметила Марлен. Я резко повернул. Потом удар. Я въехал прямо в дерево. Я помню каждый звук. Я помню крик Марлен, когда она увидела пьяницу. Помню шум дождя. Помню скрип колес, помню звук торможения о грязь. Он мягче. Помню каждую миллисекунду разворота. Помню резкий удар. Звук тяжелый очень, он давит. Затем только звук треснувшего стекла. Очень-очень тонко. Кажется, я могу даже вспомнить и разделить звук трещания, когда стекло медленно сжимается и как лопается на тысячи осколков. Потом звуков нет. Только тьма.

...

Я вижу что-то белое. За долгое время я опять что-то вижу. Уже не так больно в груди, кажется, я могу пошевелить и пальцами ног. Только голова гудит от лекарств. Чем меня пичкают. Теперь я понимаю, что, должно быть, я пострадал сильнее, чем Марлен. Но я жив, значит, должна быть жива и она. Ненавижу логику, она бессердечна и бездушна, когда я не прав, ей все равно, даже если речь идет о жизни и смерти. Мы столкнулись с... А почему мы столкнулись? Может, мы ехали по узкой дороге. Да, точно, дорога была проселочная, и автомобиль свалился в канаву? Нет, я помню удар. Лобовое столкновение. О! Треск стекла. Что-то... что-то... Кажется, я помню последние доли секунды. А... Дерево. Мы врезались в дерево, точно. Основной удар пришелся на мою сторону. Почему мы врезались в дерево?... Столько вопро-

сов. Боже, как болит голова...

...

Боль в груди очень сильная. Острая боль. Зато уже не давит. Мне кажется, я был в отключке дня три. Видимо, мне провели операцию. То, что я сделал такое суждение, уже свидетельствует о том, что мыслительная функция восстанавливается. Вернемся назад. Мы ехали. Шел дождь. Проселочная дорога. Да, помню. Мы выехали из Ле-Шателье. Домой. Мы оставили Викторию у родителей Марлен... «Такой сильный дождь для июля, можете, подождете, пока он кончится, и потом поедете?» «Подождете... Поедете «Боже, где Марлен...

...

Не знаю, сколько я уже лежу так. Кажется, я уже могу говорить шепотом. «Пить...» Почему все просят именно воды? Потому что правда очень хочется пить. Как это я забыл о жажде? Мысли путаются. Кто-то подходит. Каблуки, тук-тук-тук-тук. Значит, женщина. «Кэролайн! Во второй палате сделай укол тригидрола! Наш с Форда заговорил». «Так вколи ему еще снотворного». Не надо, Кэролайн, что с моей женой, Кэролайн... Что с Марлен... тяжело не уснуть... Тяж... Марлен...

...

Я начинаю вспоминать, кто я, и что произошло. Это была авария. Наш автомобиль. Кажется, было светло, значит, был день. Нет, я помню дождь и тучи. Дождь хлестал и бил по лобовому стеклу. Дворники носились как угорелые. Туда-сю-

да, туда-сюда... Начинает болеть и кружиться голова. Мне кажется, что-то колют, чтобы я не чувствовал боли. От этого мысли немного путаются. Что было потом? Было, бело. Было потом...

...

Я не умер. Я сужу о том, что мыслю. Я не умер. Кажется, я могу пошевелить пальцем правой руки. Я где-то в теплом помещении. Что-то гудит. Похоже на генератор. Только света не вижу. Мне до сих пор темно. Пахнет спиртом и йодом. Кроме гудения нет звуков. Я лежу на чем-то, что я могу ощутить рукой. Появилась тупая боль в груди. Дышу, спокойно и тихо. Я слышу запахи, значит, уже без кислородной маски. Рядом со мной ехала Марлен. Марлен!!!!...

...

Не могу открыть глаза. Что-то очень давит на грудь. Нет. В груди. Пытаюсь позвать Марлен. Я не слышу своего голоса. Боли нет. Только очень давит сильно... Вокруг темно. Тьма находит на меня....

...

Бело. Вокруг бело... Что-то красное... в груди больно. Где Марлен?...

Купе

Гудок паровоза вывел меня из состояния задумчивости, в которое я погрузился, засмотревшись на горные пейзажи за окном. Я сидел в своем купе с Марлен и думал о том, что это был первый раз за долгое время, когда мы с ней вместе поехали отдыхать. После аварии я около полугода не мог ходить без помощи трости, пока, наконец, не встал на ноги. Ни о какой службе на долгое время не могло быть и речи, и мы решили, наконец, отдохнуть ото всего, и на две недели поехать отдыхать на юг, в горы и озера. Шестичасовой поезд из Тремо, а именно там мы провели какое-то время, когда я лежа на берегу смотрел, как Марлен купается, отправлялся во второй половине дня, а приходил около полуночи, так что мы следовали за солнцем, которое сначала долго летело вместе с нами вдоль изрезанной береговой линии, а потом окрашивало каким-то удивительно нежным розовым цветом поднимающиеся над горизонтом горные вершины Санти-Эклара. Марлен тихо спала у меня на плече, она не хотела на самом деле лечь на купейной кровати, по той простой причине, что не хотел лечь я, а позволить себе лечь одной она не могла. Я пил чай из серебрянных подстаканников, которые принадлежали паровозному товариществу Гершера, так же, как и все в поезде и в вагонах и думал о том, что еще пройдет некоторое время, прежде, чем я увижу свою

дочь, по которой соскучился, думал о том, что Марлен очень идет нежный морской загар, и что она не так легко устает, как кажется, должна бы была.

Удивительно, как она умела резвиться в море, превращаясь в бойкую девочку, брызгающуюся во все стороны. Она хорошо плавала, и когда она медленно выходила из воды на закате, казалось, что ее тело плавится в лучах краснеющего солнца. Но смотреть на это можно было бесконечно... В Тремо мы жили в гостинице одной старой вдовы, потерявшей мужа еще во время Первой войны, и которая всю оставшуюся жизнь вспоминала о том, как хорошо он управлялся со слугами и каким честным человеком был. Каждые год в апреле она носила глубокий траур, а летом становилась предпринимательницей с хваткой истинной фанатички прибыли. При всем при том она была очень набожной женщиной и каждый год на Рождество отдавала Церкви десятую часть своего дохода.

Госпожа Валери любезно предоставила нам номер на первом этаже, в котором так же была и кухня, так что Марлен иногда готовила, когда мы не хотели есть гостиничный ужин. Большую часть, однако, своего времени мы проводили на пляже. Марлен первый раз увидела море еще в далеком детстве, и потом зачастую отдыхала на нем, для меня же оно не представляло ничего особенного, кроме как источника радости для нее.

Сейчас же мы ехали в вагоне-люкс, ожидая встречи

со служащими отеля в Сюр-Сантиэclare. Мы остановились на какой-то станции, очевидно, это была граница, и экипажу нужно было зарегистрировать переезд границы в участке пограничной службы на вокзале. Я искренне надеялся, что к нам в купе не подсядут попутчики, потому что в той особенной атмосфере уюта, которое может появиться только в поезде с любимым человеком, никогда не хочется, чтобы кто-то вторгся в пространство столь незаконно тобой оккупированное... К тому же мне очень не хотелось будить Марлен. Увы, моим желанием не суждено было сбыться, и к нам в поезд зашел господин, который, как я надеялся, должен был вскоре выйти, поскольку в той местности, через которую мы проезжали, многие путешествовали таким образом в соседний городок к родственникам или друзьям, садясь в ближайший следующий в нужном направлении поезд. Наш попутчик имел коричневый клетчатый костюм и усы и более, в целом, примечателен не был.

Мне пришлось разбудить Марлен, как бы мне этого и ни не хотелось. Она смотрела на меня потом некоторое время обиженными глазами, тем взглядом, что дети смотрят на вас, когда вы им не даёте играть на площадке, потому что темнеет и пора домой.

Попутчик, так неудобно вторгшийся в наш мир, представился господином Клемо, и сразу протянул мне визитку (тоже коричневую), на которое черными буквами было выведено буквально следующее: «Анрэ Клемо. Шляпы и головные

уборы по очень выгодным ценам». По той причине, что ни я, ни, насколько я знаю, Марлен, в шляпах не нуждались, мы вынуждены были заговорить на совсем иные темы. Выяснилось, что Анрэ Клемо – брат знаменитого на всю округу певца Анри Клемо, который однажды даже выступал в столичном театре, которому потом чиновники не дали развиваться. Анри вернулся домой, а Анрэ, оставив дом, ушел в шляпные дела буквально с головой. Впервые в жизни и я, и, уверен, Марлен слушали, с каким упоением можно рассказывать про шляпы. Как я ни старался увести его от этой темы, мне ничего не удавалось, пока через некоторое время, методом проб и ошибок я, наконец, нашел, что интересует в этой жизни Анрэ более всего, а именно – деньги. Когда я назвал сумму, которую мы с Марлен заплатили за пансион у госпожи Валери, он присвистнул, назвав это грабежом и сказал, что ни за что не позволил бы себе так отдохнуть. Он уверен, что только в постоянном накоплении капитала человек может достичь уверенности в завтрашнем дне, а значит, спокойствия, а значит, счастья. Только тогда я заметил, что у Анрэ была какая-то разновидность тика, когда он долго говорил, его левый глаз как-то странно подергивался.

– А что же делать с накопленным капиталом? – спросила Марлен, с любопытством до этого времени наблюдавшая за нашей беседой.

– Я полагаю, лучшее решение – это сохранить в ячейке в Sicherheitsbank. Их проценты наиболее выгодны для накоп-

ления вкладов.

– И все?

– И все... – Как-то успокоившись ответил Анрэ.

На мой вопрос, куда он держит путь, Анрэ ответил, что едет в Денев, потому что шляпошник из этого городка готов был продать свое дело Анрэ, и тот едет на переговоры о покупке его предприятия. Господин Клемо уверял, что эта сделка окупится быстрее, чем за три месяца, а за два года, если он правильно все посчитал, стоимость его дела удвоится. Я уже хотел спросить, когда Анрэ последний раз отдыхал, был в музее, с женщиной или вообще делал что-то помимо продажи шляп, но Марлен меня остановила.

Поезд остановился в Денев, когда уже почти совсем стемнело, и оставив визитку еще и Марлен, Господин Клемо, вежливо попрощавшись, сошел с поезда.

– Интересно, как он будет покупать дело ночью? – спросила меня Марлен.

Я не нашелся, что ответить.

– А ведь он, как и все мы – дитя Французской революции. Не будь ее, не было бы всего этого. Не было бы ни поездов, ни телеграфа, ни Клемо со шляпами, ничего этого. Мы бы жили в мире, где все расписано, а для суетности просто не остается времени. Все, что заняла суетность, занимала бы праздность. А значит, и ты сама это знаешь, культура.

– Как бы праздность стала культурой?

– Очень просто. Нам бы ничего не оставалось, кроме

как читать и писать. Король бы жил в роскошном дворце, а мы бы переписывались бы с кем-нибудь, пока крестьяне пахали наши поля. Мы бы читали Светония, пока в цехах шилась одежда. Мы бы спорили с кем-то, вроде Аруэ, пока за нас выращивали хлеб. А теперь ничего этого нет, приходится самому выращивать хлеб... Ну или вот, – я повертел в руках визитку Клемо, – продавать шляпы.

– Но это не так плохо...

– Для Клемо не так плохо, но для Светония и уж тем более короля – весьма, ладно, кажется, мы подъезжаем к Сюр-Сантиэклару, милая. Собираемся, хорошо?

– Хорошо, конечно, любимый.

Когда поезд приехал, мы с Марлен вышли на перрон, я повертел в руках визитку господина Клемо, посмотрел на нее и со спокойным сердцем выкинул в урну. Я взглянул на улыбающуюся мне Марлен. Есть в этой жизни что-то, что гораздо важнее шляп.

Секунда

Как всегда, в темном, она идет навстречу и мне и через секунду наши губы сомкнутся в порыве нежности. Ее янтарные глаза смотрят на меня, и в них отражается смысл и суть ее мироздания – я. Уверен, в моих отражается Марлен. Смысл и суть моего мира. Время вокруг перестает идти, я останавливаю его своей волей, обращая свой взор в глубину ее глаз. В этом янтарном свете я вижу отражение остановившегося времени, переплетенную суть веков и жизни человечества, и единственное стремление последнего, которое можно было бы назвать доказательством души, умея мы правильно понять, что она есть. В ее глазах, так же как и в моих, светится любовь.

Та самая любовь, от которой сердце теплится и перестает быть пламенным мотором в грудной клетке, но лучезарным огнем, за которым можно идти, и факелом, и светочем пути. Кажется, протягивается какая-то остановившаяся музыка, мотив которой помнишь, она проносится в сознании стремительной фразой за мгновение, и остается только ощущение счастья, легкого нейронного огонька в голове, мысли становятся легче, как наполненные гелием цеппелины, они роятся в голове, и незаметно исчезают, потому что превращаешься в чувство – самую суть познания мира, и единственное средство, которое может обеспечить способность

стоять на ногах, постигать, что творится вокруг, даже если мир катится в тар-тарары.

Но даже если мир катится в тар-тарары нет и не может быть ничего важнее, чем возможность смотреть в янтарный блеск в паре сантиметров от тебя. Она говорит, что мои глаза зеленые, должно быть, это все совсем по-другому, но когда видишь ее, весь мир озолачивается, небо светится бронзой, комедью идет дождь или шелестом сусального золота дует ветер. Ты ступаешь по латунной земле и чувствуешь легкий аромат золотистых груш, корицы и шафрана. И все это только цвет ее глаз, пожалуй, самый глубокий из всех, что мне известны. Пытаешься как можно скорее переступить через время, но оно держит тебя, держит из всех своих сил и понимаешь, насколько мощно его течение, если каждое движение не только члена, но и мысли зависит от времени.

Чувствуешь аромат, который перекрывает все другие запахи в мире. Это ее духи. Парфюмеры всех стран мира трудятся только ради того, чтобы я вкушал аромат ее духов, конечно, при этом 99,9 процентов теряются, поскольку их продукция становится объектом использования других женщин, но это не важно, и в данный момент остановившегося времени их не существует ни в моем мире, ни, если так поразмыслить, в чем-либо еще, поскольку их не существует для меня. Для смысла существования, увы, все это не играет никакого значения, мир сосредоточился между моими глазами и глазами Марлен, сжавшись до размеров, в сотни раз мень-

ше размеров дробишки, но полнее и глубже Андромедовой Туманности.

И время не может идти в такие моменты, оно останавливается вопреки своему существованию, по воле существования моего, так до конца и не понимаешь, что первично, время или я, и тут осеняет, догадываешься ровно в тот момент, что первична Марлен, вызвавшая своим появлением все это многообразие красок вокруг, остановив и очаровав время и меня, нет, не очаровав, пленив.

Только, кажется, опять начинаешь слышать, сначала медленно, потом громче и отчетливее удар секундной стрелки в наручных часах, который перебивает то впечатление от божественно-вдохновенной музыки, только что прозвучавшей в сознании, и время, очухиваясь, словно извиняясь за остановку опять поражает своей уверенностью в правоте хода, но оно не идет все время с одной скоростью, нет, ни в коем случае, правильно созданные часы имели бы разное расстояние между гранями циферблата, оно ускоряется, и поначалу кажется, что нельзя вынести такого быстрого хода, время хочется остановить, как Фаустово мгновение, но боишься, потому что несмотря на свою простоту оно дарует иногда такие моменты, которые иначе как божественными не назовешь, и счастье не в том, чтобы переживать одно из них, но в том, чтобы видеть и чувствовать на себе постоянно все их многообразие. А оно поистине захватывает, заставляя забывать и вновь вспоминать каждую из прожитых секунд.

Но вот, случается то, ради чего это мгновение было создано временем, подобно тому, как ради катарсиса писалась «Медея», происходит важнейшее событие в жизни этого момента. Вся та идиллия, вся прочность янтарно-золотой прекрасности рушится, воспламеняется и сгорает в одно мгновение, потому что только ради этого и был создан этот прекрасный мир. Я целую Марлен. Сначала губы, потом сознание, а потом и весь мир, и все, что вокруг мира, и все созданные, возможные и невозможные вселенные сгорают в пламени, колыхание которого заставляет сердце биться. А время, только сейчас, кажется, на мгновение ожившее, умирает окончательно, так же сгорает в этом пламени всепоглощающего огня поцелуя. Огонь колоссальной, разрушительной силы, однако становится Рагнарёком нашего бытия, мир возрождается, и время, новое, уже очищенное, стремительно рвется вперед, прорывает плеву бытия, и за ним уносимся мы, теперь уже точно не контролируя его. Остается верить, хотя, скорее речь идет о знании, остается знать, что каждый новый вздох приближает еще один момент, который вмещает в себя всю вселенную, и который разрушает ее, создав же ее потом в первозданной ее чистоте.

Самое опасное покушение

В ночь на 13 апреля 1814 г. через семь дней после отречения император всех французов остается в комнате один на один с самими собой. Дворец Фонтенбло, в который Наполеон был доставлен, охраняется стражей маршальского командования. Комната, роскошно украшенная красной бахромой, только злит «маленького капрала». Его злит и бездарность командования, всех этих маршалов Удипо, Нея, Бертье, Макдональда, герцога Босса... Злит его малодушие... Он отказался прощаться со своей Старой гвардией, с солдатами, что стояли за него в Египте и Италии, Пруссии и России... О, Россия... самая глупая ошибка императора. Бонапарт вспоминает, как тогда, у города с непонятным и непронизносимым названием Малоярославец он считал, что все потеряно. Он стоял в раздумье... долго стоял, поцеловал портрет сына – римского короля... Он не молился Деве Марии, как, наверное, поступил бы Александр в схожей ситуации. Он боялся. Великий Император боялся и боялся за свою жизнь страшно. Ему всюду виделись казаки с палашами, виделась Красная площадь... Дикие медведи... И в этой стране всегда холодно, всегда. Он ненавидел Россию... Тогда, под Малоярославцем, он попросил своего придворного медика Ювана дать ему смертельную дозу опиума. Но тогда все обошлось... Чудом Наполеон избежал плена. Чудом вырвался

из кольца... Он знал, что это чудо стоило ему тысячи солдат, и сотни офицеров, но он верил в то чудо.

Сейчас чудес не случилось. Да, были победы при Вошане и Монмирайне, но по сравнению с «битвой народов» под Лейпцигом, это были мелкие удачи на фоне полного провала. И самое главное, он начинал замечать какую-то безучастность в глазах своих маршалов, «самых честных своих солдат», как он считал... Еще неделю назад, он вспоминал, ходя по комнате, как он смотрел на них, стоя над картой захваченного Парижа. Как он просил их пойти на Париж, освободить великую столицу великой империи. Они молчали... Даже «храбрейший из храбрых» Мишель Ней отказался поддержать своего императора. «Оставьте меня одного»... За чем он сказал это тогда, неделю назад? Чтобы только не видеть их. Он больше не их император, а они не его подчиненные. Он попросил бумагу. Только бумагу, он хотел написать отречение, извиняясь перед народом Франции, оправдывая свой поступок. Но ему принесли уже заранее составленное за него отречение, в которой не было только одной детали – роспись императора. Бывшего. Неслыханная дерзость, но он ничего не сказал... Потом стража... Фонтенбло и это вынужденное заточение. Стоило ему только объявить, «Я снова император, идем на Париж!» и тысячи солдат ринулись бы за ним выбивать русских и пруссаков из горячо любимой столицы. И многие бы так поступили на его месте, но только не он. Маленький капрал был верен себе. Он до-

стал пузырек из саквояжа. «Как мало, – подумал он, – неужели так мало надо, чтобы убить меня... МЕНЯ?... Так недавно мое имя наводило ужас на народы, в моих руках были судьбы десятков, нет, сотен тысяч людей. И теперь я один на один с порошком, в котором может быть моя судьба... Кто я такой? Зачем создан, если я утопил Францию в крови, если в моей армии теперь одни старики и дети, если я сеял смерть... Не надо ли было принять его еще давным-давно?» Он вспомнил свою молодость... Академия, Египет, Директория... «Нет, не тогда... Тогда я спас Францию» Он вспоминал и вспоминал... Аустерлиц, Тильзит... И всегда он шел впереди, а народ за ним. Всегда он вел Францию к победе...

Как же он оказался здесь, запертый, бессильный и не желающий жить? У него не было ответа. Только один раз он сомневался в том, прав ли он. 14 лет назад, о, как давно это было... 14 лет назад, под Рождество, 24 декабря 1801 г... нет, не так, 3 Нивоза IX г. республики,... так точнее,... на него было совершено покушение. Сторонники Бурбонов Жозеф Пьер Пико и Робино де Сен-Режан взорвали бочонок с порохом, припрятанный в тележке на улице Сен-Никез, по которой Бонапарт следовал в карете в Оперу... Кажется, ставили что-то Гайдна... ммм... «Сотворение мира»... Тогда он думал, что творит мир человек. Один человек. По разным сведениям, погибли от 4 до 13 человек, а ранения получили, видимо, около полусотни. Он, Первый Консул республики, не пострадал, его супруга Жозефина отделалась обмороком.

Это было страшное потрясение для его мира. Уверенный в своей безгрешности, он и подумать не мог, что кто-то может быть им недоволен. Только не им. Как и сейчас, он заперся в комнате и думал, прав ли он, правильно ли поступал... Но в тоже время он остался невредим, и это его убедило в том, что он прав. Тогда, именно тогда, 14 лет назад он окончательно уверился в своей исключительности и правоте.

В зал постучали. Бонапарт быстро спрятал ампулу назад в несессер.

– Мой император, Вам что-нибудь нужно? – Вошел Коленкур.

– Иди с миром, друг мой. Мой последний друг. Я уже не твой Empereur.

– Вы всегда останетесь им в моем сердце, мой Император. – генерал ушел...

– Ушел... Что ж... За Францию! – Он поднес пузырек к губам и остановился. – Нет! За французского императора Наполеона Бонапарта! – и выпил содержимое до дна.

Дыхание сразу схватило. Какой-то холод сковал конечности. Руки начали трястись. «Боже, как неприятно, – появилась мысль у Бонапарта, – не думал, что это так больно» Меж тем судороги усиливались. Отреченный император лег на кровать. Руки тряслись все больше и больше и ему становилось холодно. Хотелось спать, но паралич в конечностях отдавал адскими страданиями. «Юван, мерзавец, что за гадость мне подсунул этот подлец? Он хотел, чтобы я помучил-

ся? Подлый предатель, не важно, к чертям, все равно скоро умру... Боже... Как больно... Аааа!»

На крик вбежал генерал Коленкур.

– Мой император, что с Вами?! Вы весь дрожите!

– Закрой дверь и не впускай никого! – сквозь зубы произнес Бонапарт.

– Но мой император!

– Закрой дверь, пес! Ааа... – страдания становились сильнее и сильнее. Адский холод добирался до сердца. В животе все крутило. Ноги дрожали так, что слетали сапоги. Ааа... – Озноб сковывал челюсти...

– Я приведу Ювана.

– За... Закрой дверь!

Коленкур ушел и вернулся через несколько минут. Лейб-медик французского императора Юван уже спал, и Коленкур разбудил его:

– С императором что-то не в порядке, ему плохо.

– Ха, – пошутил, впрочем, весьма неудачно и не к месту, Юван, – он же теперь не император.

– Он весь дрожит!

– О, нет... Только не это. – Врач начал что-то подозревать. Быстро оделся и с генералом Коленкуром побежал к Наполеону.

В это время Наполеон испытывал страшную боль: «Боже... за что? Как... как... тяжело... Нет, это не... не выносимо... Дерьмо, дерьмо, дерьмо!».

В это время в зал вошли Юван с Коленкуром. Как только Юван увидел пузырек на столе, он сразу все понял.

– Что Вы наделали? – вскричал Юван.

– Мерзавец, что ты... ааа... надела... л...? Что это? Дай мне яду!

– Никогда, я не буду повинен в Вашей смерти. Коленкур, позовите слуг, пусть принесут марганцовки, надо срочно промыть желудок Бонапарту.

– Никогда! – бешено взглянув, рывкнул бывший император всех французов. Сегодня я... вот дерьмо... сегодня я должен умереть!

Бонапарт не принимал лечения Ювана, и приказывал оставить его одного или дать еще опиума. Все это время он выкрикивал страшные ругательства в адрес всех, кого знал. Проклинал даже свою мать, родившую его на свет. «Боже... Как... трудно умирать! Ааа... Как легко было бы... умереть... умереть, – у императора начался приступ отдышки, который душил его около получаса – яд попал в легкие... на поле битвы!..А а... аах!... Почему не был убит... не был убит... я... в Арси-сюр-Об!»

Через несколько часов конвульсии ослабли. Наполеон хотел заснуть, но Юван не давал ему этого сделать. Сон при отравлении считался опасным. К рассвету судороги почти прекратились. Наполеон лежал на кровати обессиленный, в его голове снова и снова несколько тысяч раз повторялась только одна фраза: «Я не могу умереть...»

Революционер

В старое обветшалое здание Цюрихской публичной библиотеки вошел человек средних лет в сером пальто, засаленные обшлага которого позволяли судить о непритязательном вкусе и небольшом недостатке его обладателя, но в чистой сорочке и начищенными, но не до блеска, осенними туфлями. В его голубых глазах светился едва заметный огонек, придававший его взгляду какой-то особенный блеск, который неизменно замечали все, кто с ним сталкивался в жизни. Светлые кудрявые волосы вились из-под картуза европейского покрова. Он уверенно прошел в гардероб, разделся и направился в галерею, обставленную со всей швейцарской точностью именно так, как должны выглядеть публичная библиотека. Посетитель направился к библиотечной стойке.

– Ah, Herr Ijin¹, – с воодушевлением заметил библиотекарь-администратор, – Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Sie hatten wohl viel zu tun, nicht wahr? Ja, ich verstehe, ein beschäftigter Mensch hat keine freie Zeit...² Библиотекарь был типичный бюргер, швейцарец до мозга гостей, всегда обходительный, всегда любезный, но никогда ничем всерьез не интересовавшийся, как и все швейцарцы.

¹ А, господин Ильин (нем.)

² Мы Вас давно не видели. Что же, дела? Понимаю, у занятого человека не может быть лишнего времени... (нем.)

Посетитель не имел особого желания говорить, однако, ему необходимо было соблюсти все правила европейского приличия, поскольку постольку ему необходимо было жить здесь пока и работать.

– Ja, wissen Sie, ich habe für einige Zeit wegfahren müssen, wie Sie schon bemerkt haben, dienstlich...³ – на прекрасном немецком ответил иностранец.

– Hoffentlich nicht nach Russland? ⁴ – как будто бы даже и испугался швейцарец, хотя ему, конечно, было абсолютно все равно, где был Herr Iljin, хоть на краю света.

– Nein, nein. Mit einer Reise nach Russland muss ich auf einige Zeit noch abwarten. Aber es gibt doch in dieser Welt andere schöne Orte, nicht wahr? Ich habe einige Zeit in München verbracht, dort betrieben meine Freunde ein wichtiges Geschäft, und ich musste einfach Ihnen helfen. Und dann fuhr ich nach Zürich, ich musste eine Bank besuchen. Finanzen spielen jetzt... Also, Sie verstehen wohl, welche Rolle jetzt die Finanzen spielen...⁵ – Русский собеседник взглянул на стеллаж, сто-

³ Да, знаете ль, пришлось уехать на некоторое время, как Вы верно заметили, дела... (нем.)

⁴ Не в Россию, надеюсь? (нем.)

⁵ Нет, нет. В Россию я пока до поры, до времени должен обождать ездить. Но есть же и другие прекрасные места в этом мире, верно? Я некоторое время про-вел в Мюнхене, там мои друзья были заняты одним важным делом и я был просто обязан им помочь. А потом в Цюрих, необходимо было посетить один банк. Финансы играют сейчас... Ну Вы, естественно, понимаете, какую роль сейчас играют финансы. (нем.)

ящий неподалеку, – M—m-m... ich sehe, Sie haben neue Periodika erhalten?⁶

– Die dort? Ah ja, die haben unsere russischen Freunden mitgebracht, Sie dürfen sie durchblättern.⁷

– Durchblättern... Durchblättern... – сначала как будто заинтересовался Herr Ijlin, – Ja... Ah nein, danke, ich bin an Ihnen eigentlich aus anderem Anlass vorbeigekommen.⁸

– Was könnte ich für Sie tun? ⁹– спросил наконец-то библиотекарь то, что он говорит по сотне раз в день, и всегда с улыбкой, и всегда безразлично.

– Ich brauche das Werk Jean Batist Sejs «Der Katechismus der politischen Ökonomie». Anscheinend ist so der Titel seines Werks, wenn ich mich nicht täusche, aber so was kommt sehr selten vor.... 1831.¹⁰

Библиотекарь-администратор пошел к шкафчику с карточками посетителей библиотеки. Он немного порылся там и вышел с несколько разочарованным лицом к русскому посетителю Цюрихской публичной библиотеки.

⁶ М, вижу, у Вас обновилась периодические издания? (нем.)

⁷ А, это? Да-да, привезли наши русские друзья, можете взглянуть. (нем.)

⁸ Взглянуть..., взглянуть,... да нет, спасибо, я к Вам, собственно, по другому поводу зашел. (нем.)

⁹ Чем же могу быть Вам полезен? (нем.)

¹⁰ Мне нужен труд Жана Батиста Сэя «Катехизис политической экономии, или Краткое учение о составлении, распределении и потреблении богатства в обществе». Вроде так называется егоopus, если я ничего не путаю, а это бывает очень редко. 1831 год. (нем.)

– Ich fürchte, ich habe Ihre Lesekarte nicht, Herr Iljin. Haben Sie bestimmt keine Literatur auf dem Abonnement?¹¹

– Wieso?... – как бы очнулся русский, он долгое время не спал и иногда впадал в небытие, как и все уставшие люди, – Ja, natürlich habe ich etwas, machen Sie sich bitte keine Sorgen, alles ist in Ordnung, ich kehre die Ihnen später zurück, bei mir liegen einige Bände von Engels, einige von ihnen habe ich sogar mit, aber ich benötige sie vorläufig. Würden Sie bitte die auf Herrn Uljanow, Wladimir Uljanow notieren. Ich bringe sie zurück, Sie wissen schon, ich gebe alles immer zurück.¹²

– Offen gestanden erlauben unsere Regeln so was kaum, aber unter Berücksichtigung Ihrer Pedanterie, können wir eine Ausnahme für Sie tun. Wir kämpfen doch für das Komfort unserer Kunden. Ihren Pass, bitte...¹³

– Ja, sicher, und rechtschönen Dank.,¹⁴ – сказал Владимир, протягивая паспорт.

– Gut. Sie müssen einige Zeit warten, nehmen Sie bitte Platz.¹⁵

¹¹ Боюсь, у меня нет Вашей читательской карточки, господин Ильин. У Вас точно нет на руках литературы? (нем.)

¹² А, что?... А, конечно, есть-есть, не беспокойтесь, все в порядке, я потом верну Вам, у меня лежит несколько томов Энгельса, некоторые из них даже с собой, но они мне пока нужны. Запишите на господина Ульянова, Владимира Ульянова. Я верну, Вы же знаете, я всегда возвращаю. (нем.)

¹³ Вообще, это не в наших правилах, но учитывая Вашу педантичность, я думаю, мы можем сделать Вам исключение. Мы боремся за удобство наших клиентов, Ваш паспорт, пожалуйста. (нем.)

¹⁴ Конечно. И благодарю. (нем.)

¹⁵ Хорошо, Вам придется подождать некоторое время, присаживайтесь. (нем.)

Владимир присел в мягкие кресла. Его очень клонило ко сну, но он вполне еще мог держаться некоторое время. Пока он ждал, он наблюдал за суетящимся швейцарцем, который был со всеми столь же любезен, как и с ним несколько минут назад.

– Herr Uljanow, haben Sie Sej bestellt? Hier, nehmen Sie. Den Weg in den Lesesaal kennen Sie schon...¹⁶

Ульянов (Ильин) взял книгу и отправился в читальный зал. Здесь он был уже далеко не первый раз и знал библиотеку как свои пять пальцев. Он присел за свободный столик, достал перо, чернильницу и тетрадку и принялся записывать, сопоставляя с принесенным им Рикардо.

«Так,..., – мыслил Владимир, читая Сэя – Производитель, который думал бы, что его потребители состоят не только из тех, которые сами производят, но и из многих других классов, которые материально сами ничего не производят, как, например, чиновники, врачи, юристы, духовенство и прочие, и вывел бы из этого то заключение, что есть еще и другие рынки, кроме тех, которые представляют лица, сами производящие что-нибудь, – производитель, рассуждающий таким образом, доказал бы только, что он судит по одной внешности и не умеет проникнуть в сущность дела. В самом деле, вот священник, который идет к торговцу, чтобы купить себе эпитрахиль или стихарь; ценность, которую он

¹⁶ Господин Ульянов, Вы заказывали Сэя? Вот, возьмите, в читальный зал, знаете как пройти. (нем.)

несет в лавку, это сумма денег. Откуда он взял ее? От сборщика податей, который получил ее от плательщика их. Откуда же взял ее плательщик налога? Она произведена им самим. Самим ли? Эта самая ценность, произведенная плательщиком налога и примененная на деньги, а потом переданная священнику, и дала ему возможность сделать свою покупку. Священник стал на место производителя, а производитель мог бы и сам на ценность своего продукта купить если не эпитрахиль или стихарь, то какой-нибудь другой, более полезный для себя продукт. Что же на этот счет полагает Рикардо, ну-тка, взглянем, ... ага, вот-вот, именно это и нужно, но почему тогда Маркс полагает об изменении природы продукта для нетрудовых классов? Необходимо принять его мысли, как верные, да-да, как верные, и с их точки зрения критиковать все остальное, хотя в данном случае критиковать не приходится... Продукт, продукт... На практике еще не было никогда такого примера, чтобы какая-нибудь нация была совершенно лишена продуктов, которые она могла бы производить и потреблять. Но мы можем мысленно распространить последовательно на все продукты то, что наблюдали над некоторыми из них. За известными пределами трудности, которые сопровождают каждое производство и обыкновенно преодолеваются производителями, возрастают в такой быстро увеличивающейся пропорции, что превосходят удовлетворение, доставляемое пользованием таким продуктом. И тогда можно произвести какую-нибудь полез-

ную вещь, но ее полезность не будет стоить того, во что она обошлась, и не будет удовлетворять существенному условию всякого продукта – чтобы ценность его по крайней мере равнялась издержкам его производства. Если труд 30 дней может прокормить работавших только в течение 20 дней, то невозможно продолжать такое производство: оно не побуждало бы к деятельности новых лиц, которые вследствие этого не увеличивали бы спроса на новую одежду, на новые жилища и т. д. Так, так, вот это стоит отметить, хотя, вроде, у Курно похожая мысль была, нет, там не так, там об обеспечении аппарата, Курно – дурак, капиталист, у него не так, у него про полезность как про благо... благо... Производство зависит от полезности как A от B в пропорции и изменении, в зависимости от показателя Q – рабочей силы, Q , вот это странно всего лишь Q – рабочая сила, какой-то коэффициент в формуле благ, да, так ведь и есть... Так и есть»

Вдруг его мысли прервались... «Ну вот зачем ты сейчас Курно дураком назвал?» – перед ним стоял молодой человек, собирающийся присаживаться с другой стороны стола. Он был одет в русскую арестантскую шинель, на вид ему было лет двадцать, глаза его, однако, выражали вселенскую мудрость. Владимир Ульянов никогда не видел таких глаз.

– Entschuldigung..., то есть, Вы по-русски говорите,.. Извините, мы, разве, знакомы? – непонимающе смотрел Владимир на незнакомца.

– Не узнаешь, что ли? А леталки в деревне не помнишь?

Я ведь еще приезжал к Вам, ух как мы играли... Леталки-то, леталки... Не помнишь, что ль?

– Но..., но, – на лице Владимира появился ужас, – это-того никак не может быть-ть. Я помню, я все помню, восемнадцать лет уже как, как же так?

– Ну вот так... – как-то даже смущенно ответил арестант.

– Саша? – очень недоверчиво посмотрел прямо в глаза брату Ульянов.

– Ну, признал наконец, я уж думал, уходить придется, не признает уж, думаю. – Он улыбнулся, – а нет-таки, признал, брат, признал. Могу даже крикнуть. – И он громко закричал: «Меня брат признал, ура!!!». – Да, давненько не кричал так, еще со студенчества.

– Постой, но, как же так? Как? Ты же..., м,... тебя же,... еще, тогда,... восемнадцать лет назад... тебя и еще троих,... я помню, тебя...

– Ну так и скажи, повесили. Что ты все не решаешься никак, Володя?

Теперь у Владимира появилось время лучше разглядеть брата. Он сидел перед ним как и тогда, он сам не видел, но ему рассказывали. Их завели на плац, они взошли на виселицу, отказавшись от священника, им надели на голову черные мешки, надели петли, и открыли яму. Все было очень просто, и Владимир сотни раз представлял это все. Именно таким он представлял брата, таким он и сидел здесь рядом с ним. В арестантской шинели, небритый, но при этом он

не оставлял впечатления небрежного человека, волосы были аккуратно заглажены, лицо даже как будто вымыто было. Но это был его брат, брат, повешенный в мае 87—ого, вот что было самое странное.

– Как же так? – спросил Владимир брата, – Ты что, видишься мне?

– Тут есть три варианта, Володя, выбирать тебе. Вариант номер один: я пришел к тебе после смерти, чтобы сказать что-то важное, за какой-то целью, о которой известно мне и еще Богу, в которого, если ты выберешь этот вариант, тебе непременно придется поверить. Ты ведь не объяснишь привидение с помощью диалектического материализма, ведь так? Или объяснишь? Да, нет, с помощью философии тебе тут далеко не уехать. Вариант второй, самый простой, на мой взгляд, но тут бы я тебе бритвой Оккама пользоваться не советовал, можешь порезаться, так вот, сам вариант: ты сошел с ума. Видишь как просто, один заучившийся до сумасшествия русский революционер говорит в Цюрихской публичной библиотеке сам с собою. И наконец, третий вариант, несколько похожий на второй: за последнюю неделю ты спал в общей сложности не более двух ночей и у тебя легкое помутнение нервов, вызванное бессонницей и постоянным чтением экономической литературы. Ты ведь любишь думать, вот и решай, почему я здесь.

– Какое-то безумие, какое-то... Что со мной? – Владимир в самом деле решил, что он сошел с ума, он быстро пытался

сообразить и проанализировать ситуацию, но где-то самым краешком своего разума он понимал, что анализу и соображению эта ситуация не поддается. Перед ним сидел его брат. Мертвый.

– Ну вот почему я так и думал, что ты сначала все-таки решишь, что свихнулся? – Несильно ты изменился.

– Так, постой, но если я понимаю, что я сошел с ума, значит, я не сошел с ума, правильно?

– Хорошо, – улыбнулся брат, – и что из этого значит?

– Я не знаю. – Твердо и уверенно ответил Владимир.

– И что же делать будешь?

– Знаешь, брат, если ты жив был и сейчас жив, то я тебе не прощу. Мама из-за тебя чуть не убилась тогда.

– Я знаю, Володя, но, к сожалению, меня казнили. – Грусть отразилась на его молодом и странном лице.

– Так почему же я тебя вижу?

– Решать тебе, брат.

Они помолчали.

Тут Владимир заметил, что в библиотеке, в читальном зале кроме него и брата никого не было.

– Брат, Саша, а где все?

– А ты успокоился и готов к диалогу?

– Я думаю, что я еще не все понимаю, но что я точно могу, так это говорить с тобой. Так что давай поговорим. Скажи, ты знаешь, где все?

– Нет, Володя, не знаю. – Признался Александр Ульянов.

– Отлично. – Приснул Володя. И тут же улыбнулся.

– Ты чего это? Что смешного?

– Я, я никогда бы, нет..., никогда не мог подумать, что сойду, знаешь, с ума сойду.

– Знаешь, Владимир, по-моему это не так уж смешно. – серьезно и тихо сказал Саша.

– Да, что ты, посмейся, ты чего такой угрюмый. Пришел и угрюмый сидишь тут, мертвый ведь, мертвый? Вам веселиться можно? Можно? Меня с ума свел... Кстати, сколько у нас с тобой времени?

– Ну, я могу сказать ответ, но тебе он не понравится.

– Сколько, мне уже все равно.

– У меня бесконечность, а у тебя, извини, не знаю, от тебя зависит.

– Да, – он опять рассмеялся, – Ха, если ты игра моего воображения или воспаленного сознания, а скорее всего так и есть, то что-то у моего воображения не очень хорошо с юмором и фантазией. Ничего-то и сказать не может.

– Володь, а если нет?

– А если да? Ты докажи, что я не сошел с ума, тогда тебе поверю.

– А ты докажи, что сошел.

– А чего тут доказывать, я вижу своего покойного брата и говорю с ним.

– Ты материалист. Как это скверно, у нас в семье одни материалисты. – Быстро и на выдохе парировал Александр.

– Мы о чем говорить будем? – через некоторое время спросил Владимир.

– Расскажи о себе, что есть твоя цель?

– Зачем мне тебе рассказывать? Поскольку из любого варианта, которыми ты объясняешь свое присутствие здесь, следует, что ты знаешь обо мне все. Так что обо мне нечего и говорить.

– Логично и правильно. Но о тебе как раз и есть, что говорить.

– Ну есть у меня задумка одна...

– Да знаю я твою задумку,...

– Мало того что ты все знаешь обо мне, ты еще меня и перебиваешь.

– А ты еще «задумка», это целое «задумище», эх ты, да если бы ты, хоть где, написал, что у тебя есть «задумка», разве б за тобой люди пошли? Скажи, что не задумка. Скажи, зачем все?

– Брат, я пытаюсь сделать то, что ты не смог. Исправить твои ошибки, сделать твою работу, отомстить за тебя!

– И это я слышу от материалиста, от социалиста, от революционера. Да как же отомстить за меня, если... Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела...». Узнаешь? – вскричал неожиданно Александр, тут он неожидан-

но начал говорить голосом металлическим, медленным, четким, проникающим в сердце – узнаешь свою библию, написанную убийцей?! Да как же человек может лишиться родства и дружбы, как заменить может это все бездарным механическим словом «товарищ», до глубины души всякой отзывающей металлом?! Как отказаться от любви и благодарности, если на свете ничего нет лучше, чем любовь и благодарность?! Да что это за страсть такая холодная революционного дела, страсть всепоглощающая, душащая в человеке все святое, все ради чего он создан, ради чего рожден был на этой земле? Для чего, Володя, для чего надо падать, а потом вставать и убивать, убивать, убивать, для чего надо забыть себя, чтобы отдать свой разум и тело на дело революционной борьбы, смысл которой не понимает и тысячная, миллионная часть человечества, а душу, душу отдать на растерзание самому себе, забыть о душе, стать машиной? И ты, революционер, ты можешь мне объяснить для чего? Нет! И это ответ, который также очевиден, как и то, что революция – самое грязное из дел, как и политика, придуманная для освобожденного от всех условностей убийства, которое есть просто бледный всадник, стремглав скачущий на мертвом коне, разрушающем на своем пути, все созданное человеком за жизнь его. Пусть все плохое, но и все хорошее. Да для чего, в конце концов, люди отдают себя на растерзание делу, которое в основе своей имеет разрушение?! Ради идеи, свободы, счастья? Может быть, равенства?! Да нет это все-

го, и ты сам это знаешь, Володя, так же очевидно, как знаешь и то, дело, которому ты служишь – дело зверское, огненное, убивающее. Надо научиться прощать, Володя. *Что, если ты не прав?!* – Пока Александр это говорил, его глаза горели, действительно горели огнем, он несколько раз вставал и садился, он нервничал, но все это было настолько странно и необычно, что Владимир слушал его очень внимательно и не обращал внимания на его жесты, до него доносилось содержание слов брата.

– Я прав. – спокойно и тихо ответил Владимир. – Ты ведь тоже был одним из революционеров, народником. Почему ты сейчас так говоришь?

– Знаешь, я видел его там. – Как-то тоже спокойно ответил брат.

– Кого «его» и где «там»?

– Я видел его, на чью жизнь я, покушался, царя я видел, Императора Российского, мы говорили с ним, много говорили о смысле бытия, бытия моего, твоего и общего с открытием, невозможность которого понять также очевидна, как и отсутствия смысла в моих действиях тогда, 1 марта, 18 лет назад, когда я, студент, революционер, стремящийся показать миру правду, доказав ее ложью страшной, как... как это было отвратительно. Нельзя понять того, что скрывается за ложью. Ложь не скрывает правду, она уничтожает ее полностью, полностью ведет смысл к гибели. Он, Александр III, он простил меня и товарищей, он лишил себя воз-

возможности держать зло на меня, при том, что я и товарищи почти убили его, из-за нас он умер. Такова его воля была, а мы боролись с нею... А он простил.

– Какая же польза от этого прощения, если он простил тебя «там», а не тут? – спросил Владимир брата.

– А ты почему знаешь, какой мир главнее, тот или этот? Ты примитивен и похож на ребенка, не знающего, что за домом, но полагающего, что все действия его в доме наиважнейши и играют первостепенную роль в мироздании.

– Ты странно говоришь, раньше ты не так говорил. – Как-то задумчиво парировал Владимир.

– Раньше я не знал, что есть жизнь...

– Так что? Что есть жизнь? – в глазах живого человека заиграл огонь. Он спрашивал у казненного, что есть жизнь.

– Я не имею права тебе говорить, но ты узнаешь, ты узнаешь, что есть жизнь еще до смерти, учти, очень малой доли людей становится известно это до смерти. Ты таков.

– Что говорили Вы с Александром Романовым обо мне? – спросил Ульянов

– Это неважно для тебя сейчас. Ты узнаешь, потом, просто будь терпелив, но есть то, что я должен тебе сказать.

– Я слушаю, – сказал Владимир. И он действительно слушал своего мертвого брата.

– Борьба, которую ты только начал, которую тебе еще предстоит вести очень долго, в случае если ты выберешь путь борьбы, будет самым великим делом в твоей жизни. У тебя

сейчас есть два пути. Путь отказа от борьбы и путь ее продолжения. От этого зависит так много, что мне даже страшно говорить об этом. Этот выбор ты должен сделать и мир, весь мир, за освобождение которого ты борешься, будет помнить тебя веками, но не это главное, и ты это знаешь, ты не тщеславен, в отличие от нас. Твой выбор будет зиждиться на анализе ситуации, в которую ты, брат, попал и которую ты не можешь понять, как не могут ее понять никто из людей. Ты возразишь мне, что веришь, а я же скажу тебе, что нельзя верить в материализм, поскольку это всего лишь оболочка, не покрывающая и сотой части мира, но закрывающей лишь ее видимую часть, а оттого кажущейся столь логичной, и ты должен это понять сейчас, как не упрямясь, ты должен и в этом твоя задача и цель, которую я должен до тебя донести. Если ты борьбу продолжишь, то ты добьешься своей цели,...

– Есть! – воскликнул Владимир.

– Не перебивай меня, брат, ты добьешься своей цели, или ее внешней стороны, ты сделаешь, то, что страшнее войны, а точнее берет свое начало и завершается в войне. Я не буду говорить, что будет потом, но да, революция уничтожит все порядки, против которых ты будешь бороться, ты построишь новое государство, но всех целей ты не добьешься и никто не добьется в жизни, ибо они недостижимы, и это ты также должен понять, как и то, что за тобой придет он... Тот, который разрушит идею, самое важное и единственное, что

есть у тебя, кроме желания разрушить предыдущее, полагающее основы. Он, он разрушит все, что построил ты и создаст новое царство тьмы, тьмы, которая будет жить независимо от тебя, этот Цезарь будет жесток и зол на мир, в котором ему не нашлось места, но он, слабое по сути своей создание, окунет мир во тьму, пронзающим страхом задевающую каждое сердце человеческое. Он сделает мир своим! И это, это после стольких трудов, которые ты и товарищи, – это слово Александр произнес с ненавистью, – вложили в дело свое, после крови наступит новая кровь, отдающая резонансом по всему свету! Ты, брат, ты не освободишь мир и народы! Чтобы ты не делал, человеческая природа, нелогичнейшая по сути своей, возьмет верх и все, ради чего ты боролся, обернется мраком. Он подчинит себе мир, но и он уйдет, и твое государство, созданное на крови просуществует одну лишь жизнь человека, не более,.. все остальное не зависит от тебя, ты должен лишь сделать выбор! Продолжишь ли ты борьбу, которую начал? – Александр говорил удивительно медленно, внушительно четко и отрешенно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.